

Лев Аннинский, литературный критик

1. С какой традицией русской культуры вы себя отождествляете?

Я могу сказать, что считаю себя все-таки человеком культуры 19 века, причем второй половины 19 века и только отчасти 20-го. Как выяснилось, 20-й век все-таки гибелен. Он поставил такие вопросы, на которые нет ответа. Мы не можем ответить, почему 20 век оказался веком таких убийственных войн, почему распадаются великие государства, почему национальные характеры, которые считались устойчивыми, оказываются самоубийственно неустойчивыми. Мы можем попытаться ответить на эти вопросы, если будем искать точки опоры в нашей ментальности. И тогда, обращаясь к 19-му веку, мы можем удержаться «на плаву».

- А какие ответы на злополучные вопросы вы находите в 19-м веке?

Ну, например, Пушкин. Это один из русских ответов. Достоевский придал ему такую интегральную форму: Пушкин – это наше все. Достоевский говорил также о всеотзывчивости Пушкина. И в этой всеотзывчивости и есть духовное спасение России. Пушкин позволяет людям каким-то образом удержаться в распадающемся мире, поскольку он все сумел построить на обаянии языка, на обаянии поэтической интонации культуры и откликнулся на все. И это, конечно, очень важно для меня. Но ближе мне все-таки вторая половина 19-го века. Прежде всего это Достоевский, который предугадал трагическое развитие событий 20 века. Без него не понятно было бы: как это все могло произойти. Он все это предчувствовал. Хотя мне, конечно, ближе Толстой, потому что Толстой – это как раз ответ органической реальности духовной. Ответ на вызовы 20-го века, когда все стало распадаться. Я занимался прежде всего Толстым и Лесковым, потому что они помогли мне выдержать бесконечное ощущение предраспада. Мы ведь были детьми первого поколения, которое было воспитано для счастливой жизни. И вдруг выясняется, что все, во что мы верили – это не просто ошибка. Это в принципе невозможная химера. И любая теория такого рода обречена быть химерой. Как нам быть? На что опираться? Сначала я думал, что это следствие мировой войны – весь этот распад. Теперь я думаю, что война есть следствие того, что распадается само сознание. Мы наблюдаем распад великого государства, крушение высоких ценностей, в обаянии которых все мы выросли. Выясняется, что интегральных духовных ценностей как бы и нет у современных людей, которым вместо этого предлагают только рынок. А рынок – это ведь не высокая ценность. Рынок – это метод сохранения жизни, метод оптимизации реальности, не более того.

- Что же спасает ваше сознание от распада?

Для меня необходимо было прежде всего осознать этот распад как неизбежное. Не как ошибку, а как неизбежное. А это уже означает попытку этому распаду противостоять внутри себя.

- И тогда все происходящее не воспринимается так трагично?

Трагедия имплицирована в бытие человека, потому что он не может с этим окончательно справиться. Окончательное решение в руке рока.

- Судя по всему, вы фаталист?

Я стал фаталистом в результате того, что рухнуло все, во что я верил. И я не могу в это перестать верить. Все мое поколение было воспитано на идее всемирности. России как бы не существовало. Была территория, на которой отлаживались и испытывались всемирные ценности: революция, мировой коммунизм и т. д. Когда это стало распадаться, а потом совсем исчезло, осталась та страна, в которой мы живем. Для людей 20-х годов Россия вообще существовала как некая эфемериды, для Маяковского, например. Потом и мы обнаружили, что эти эфемериды должны быть местом реальности для нас. Я стал вдумываться: почему с Россией происходят такие вещи? Я стал вдумываться в русский национальный характер, хотя он никогда национальным не был. Он был сверхнациональный, как характер американца, индуса, китайца, где много племенных смешений. Для сравнения возьмем, допустим, немца. Будь то пруссак или баварец – это два разных варианта, но все-таки это немецкий характер, который как-то собран. Французский характер тем более собран. Британский – еще более собран. Но попробуйте унифицировать американца! Там будет сразу несколько ингредиентов, которые совсем не совпадают.

- Значит, понятия «русский характер» не существует?

Это как раз была проблема, для решения которой я попытался найти почву. Я точно знал писателя, который поможет мне ответить на этот вопрос. Это и не Достоевский с его безднами и его неразрешимостью. И не Толстой, который знал ответы на все вопросы, и даже Евангелие переписывал. Однако все же непонятно было, почему при таком знании и верхней и нижней бездны у нас почва плывет под ногами. И я нашел писателя, у которого эта плывущая почва была его главной экзистенцией. Это Лесков. Когда я влез в Лескова, я сразу нашел ответ на вопрос, почему русские так неустойчивы. А я сам русский человек по судьбе, хотя состою из двух нерусских кровей (евреи и казаки), но судьба-то русская. Я все это переживал в себе, поэтому ответом на вопрос был для меня Лесков. Если нам

суждено исчезнуть, то я исчезну вместе с этим народом, вместе с этой реальностью.

- По Лескову «плывущая реальность» русского народа неизбежна?

Это реальность, состоявшаяся в истории. Такая мысль воплотилась в его главной вещи – «Соборяне». Но даже в «Левше» это видно: самый изощреннейший русский ум делает все впустую. Левша подковал блоху, которая перестала плясать. И его за это головой об землю ударили. А он ведь гениально одаренный человек. Словом, гениально одаренные русские не могут извлечь из своей гениальности что-нибудь полезное для себя. С этим нужно было как-то справиться. А я как отпрыск двух противоположных начал очень остро чувствую эту флуктуативность в себе. И отменить ее невозможно. Попытаться с ней расстаться – означает сесть в такой национальный русский патриотизм, который исповедуют сейчас только «почвенники». Этого я сделать не могу. Судите сами, на какую традицию я опираюсь и почему это традиция второй половины 19-го века. Я всегда чувствовал в себе столкновение двух начал, и эту противоречивость сделал своей темой. Единственный способ примириться с противоречивостью это, во-первых, считать ее фатально ставшей и не делать вид, что могло или должно быть иначе, а во-вторых, противоречивость сделать темой размышлений, темой судьбы и жить с ней все время.

2. Какую эпоху русской культуры вы считаете вершинной и почему?

Вершин много, но наиболее близкая мне вершина, как я уже сказал, – это вторая половина 19-го века: Толстой, Лесков, Достоевский. В студенчестве очень любил Горького, потому что он обещал избавить людей от страданий, и он был такой же атеист, как я, вернее, богомил, если точно говорить. Вот эти вершины я принял. А вершин объективно намного больше. Пушкин, конечно, был вершиной. Тютчев, который для меня настолько велик, что я боялся им заниматься. Я занялся Фетом, который был мне чуть более доступен по духу. И все это вершины. Очень сложные у меня отношения с серебряным веком. Это, конечно, тоже вершина, но не моя. Моя вершина – вторая половина 19-го века.

- Если бы вы жили в то время, вы могли бы чувствовать себя естественно и органично?

Нет. Эта эпоха стояла под ударом. Она предчувствовала катастрофу. Это был последний кусочек суши перед обвалом в наводнение. И люди той эпохи предчувствовали катастрофу. Их тип сопротивления мне понятен и близок. Людей того

времени я больше даже жалею, чем кого бы то ни было. Это мои прапрадеды. Они были обречены. Нужно было идти навстречу трагедии, и они шли. В 1914-м году трагедия разразилась. Вопрос: почему? Почему немцы и русские это допустили? Это страшная вина. Не было бы 17-го года, если бы в 1914-м два великих народа, немцы и русские, не сошли с ума. Они не смели развязывать мировую войну. Они должны были предчувствовать, чем это кончится. Ведь это очень талантливые народы. Но, как сказал Бердяев, Бог с любовью и горечью наблюдает, как его любимые дети убивают друг друга. А уж потом ввязались и другие. Вторая мировая война была просто следствием. Как же было Гитлеру не появиться, как же было Сталину не появиться? Эти два народа сломали всю историю. Им это не простится. Мне трудно уважать русских, но я их люблю и ненавижу одновременно. Я сам внутри них.

- А люди вашей любимой эпохи все это страшное грядущее осознавали или только предчувствовали?

Конечно, только предчувствовали. Осознавали немногие. Прежде всего, Достоевский, но он тоже надеялся, что можно остановиться. Острее всех предчувствовал Чехов, и он стонал. Чехов мне все-таки менее близок, чем Лесков. Потому что Лесков все это преодолевал внутри себя – юмором, страстью, отчаянием. В Лескове было больше внутренней упругости, чем в Чехове, который шел навстречу этому отчаянию. При этом одарены гениально были оба.

- Почему все-таки именно эту эпоху вы называете самой лучшей в истории русской культуры?

Потому что после этой эпохи уже невозможно было ничего остановить. А там еще была иллюзия, что можно удержаться. Вот, видимо, сейчас это на меня действует. Хотя, окажись я там, в 70-е годы 19-го века, я бы вместе со всей этой машиной, всей культурной структурой сползал бы в небытие. Но сейчас мне кажется, что это было время, когда еще не пробил час, когда какие-то константы еще не рухнули.

3. Как сказалоь на развитии русской культуры завершение советского периода истории России?

Русской культуре пришлось вспомнить, что она русская. А до этого она была советской и внутри советской ойкумены никак не могла вспомнить, что она – русская, это было не так важно в свете «мировых задач». Но, между тем, когда советская литература перестала быть советской, она потеряла очень много ценно-

стей. Прекратилось взаимодействие республик, где были замечательные писатели. А это взаимодействие, взаимодействие непохожих национальных характеров, шло через русскую литературу. Это ушло, этого нет. Всю жизнь работая в журнале *Дружба народов* и занимаясь творчеством многонациональной семьи, в какой-то момент я понял, что меня так увлекало. Прежде всего, психологические феномены, которые спокойно вели диалог под официальной вывеской «многонациональной советской литературы». Когда все это рухнуло, я ощутил большую потерю. И почти одновременно с этим народ вообще отвернулся от серьезной литературы. Он ее просто перестал читать.

- *Вы в этом совершенно убеждены?*

Я это вижу. Читает провинция, читают в Сибири. А в Москве читают только детективы и глянцевого журналы. Или вообще ничего не читают, смотрят телевизор и тусуются. Элита читает философскую, политическую литературу. К этому интерес есть, а если речь идет о беллетристике, то тогда уж читают Маринину, Донцову, Дашкову. Я этого не читаю. Я и Акунина не могу читать. Мне хватило полторы главы, чтобы понять, что это имитация. Серьезные журналы читать перестали – это факт.

- *А может быть, сейчас нет ничего достойного в серьезном жанре?*

Глубоко ошибаетесь. Есть замечательные тексты. Просто если бы был процесс общения с серьезной литературой, был бы отклик. Например, появился *Андеграунд* Маканина. Очень интересная вещь для обсуждения. Никто не заметил. Прошло на периферии.

- *Вы беретесь утверждать, что великая традиция чтения современной литературы канула в Лету?*

Великая традиция чтения очень сильно ослаблена. Есть еще пока инерция. Serious литература оказалась в изоляции, в вакууме, как в свое время советская литература, которую пытались изолировать от западных влияний. Тогда эту изоляцию создавали искусственно. И мы ее все время преодолевали. Потому что, если тебе дают *По ком звонит колокол* на одну ночь, то впечатление от этой книги было особенным. А сейчас все есть, и мы не спешим читать. Появился Павич – прочту как-нибудь потом. Ведь когда нас искусственно ограждали, так мы через забор лазили и продирались, и все читали, и все знали. А сейчас у нас как будто нет сил что-либо воспринимать.

- *Итак, мы деградировали как читатели?*

Как читатели серьезной литературы мы деградировали. Хотя, пожалуй, это сказано слишком сильно. Ослаблен интерес. Мне от этого плохо, потому что я привык к тому, чтобы читали.

- Как сказывается эта ослабленная реакция читателей на русской литературе, на ее качестве, на ее устремлениях?

Во-первых, русская литература раскололась, как раскололись все союзы писателей. Одна половина ориентирована на Запад, на мировые ценности, на «атлантический» тип жизни. А вторая половина сугубо национальная, «почвенная», патриотическая. Литература «западного» лагеря подвержена манифестам модернизма: структурализм, постструктурализм, постмодернизм. Каждое новое даже не поколение, а группа отрицает предыдущую и на ней «выстраивается». В результате читать очень трудно. Во-первых, много «матюков». Распад языка демонстрируется. Я назову три фамилии: Виктор Ерофеев, Владимир Сорокин, Виктор Пелевин. Все трое очень талантливы, их текстами молодежь зачитывается. Все они властители того, что все еще называется думами. Представители другого лагеря пишут более или менее добротные тексты в старом, русском, героически-народном стиле. У них свои прозаики, свои поэты. Один из самых ярких представителей этого направления Юрий Кузнецов. Он ровесник Бродского и полная ему противоположность. Бродский перестал быть русским поэтом демонстративно, но не стал еврейским. Он стал поэтом мировой скорби, а точнее, мирового распада. Там можно идти навстречу распаду и делать из этого великую поэзию. А Кузнецов – поэт русской темы, русского распада, обвиняющий в этом распаде «жидовский заговор». Но он очень яркий, талантливый человек с мистическим ясновидением. Таковы в общих чертах итоги завершения советского периода русской литературы.

- Итак, нынешний период вы оцениваете как период болезни русской литературы?

Да, несомненно. То ли это старческая болезнь накануне исчезновения, то ли детская болезнь, когда возникают новые организмы. Нынешние писатели говорят, что литература в России «распухла»: слишком много ей было отдано внимания. Недаром Розанов в свое время писал: Россия погибла оттого, что писатели никак не могли решить, хорошо ли они пишут. А современные писатели уверены в том, что не только у нас, но и на Западе никакой литературы для серьезного чтения нет. Там или деловая литература или развлекательная. А писатель – это тот, кто световую рекламу пишет. Вот и мы к этому идем, и никто не будет читать книги, чтобы понять, что с нами происходит.

- Может быть, это очередной революционный взрыв, и новые революционеры вместе с водой готовы выплеснуть ребенка?

Это не революционеры, это бунтари. Это русское бунтарство. Как написано у Киреевского, когда немец безобразничает, он знает, что безобразничает. А когда русский безобразничает, он думает, что с Богом спорит. Так вот, современный русский человек, современный русский писатель – он уже человек европейского покроя, человек либеральный. Он безобразничает, чтобы позлить обывателя, меня позлить, поскольку я на традиционных ценностях сижу. Оглядываясь назад, невозможно не вспомнить, что российской словесной истории уже 300 лет. 300 лет в России словом спасались. Причем ситуация литературная была абсолютно уникальной. Русская культура и литература в частности стали местом встречи христианской идеи с азиатским ощущением интегральности мира. Поэтому-то она уникальна, и терять ее мне очень больно.

4. Ощущаются ли изменения в культурной ситуации в связи с приходом к власти нового лидера?

Дело не в лидере. Лидер – это как поплавок. Просто накопилось отвращение от предыдущей эпохи полной разнузданности. А до этого накопилось отвращение от эпохи изворотливого партфункционера, который честно пытался стать либералом, и т. д. Лидер только символизирует наступление нового момента, после того как накопились определенные ощущения. Что же накопилось к моменту появления Путина? Прежде всего чувство униженности России. Каждый мог шлепнуть по морде и пройти дальше. Вплоть до того, что можно отнять золотую медаль у фигуриста. Можно все, что угодно. За десять лет накопилось много негативных эмоций. Все вместе это породило ожидание человека, который хотя бы остановит этот распад. Поэтому появился Путин, который говорит: «Остановитесь, государство должно быть сильным». Назад к коммунизму не зовет, но не мешает все пересчитывать на деньги. При этом поливать грязью страну и ее граждан не считает уместным.

- И все же успел ли Путин как-то изменить культурную ситуацию в России?

Пока нет. Для этого прошло еще мало времени. Ощущаются изменения скорее в ситуации психологической. Я под сильным впечатлением от доклада прокурора Устинова, который дал объяснения по поводу гибели «Курска». Никто их не таранил и ни под какую мину они не попадали. Было столько мелкого разгильдяйства и халатности. Всего понемногу, а в результате чудовищная катастрофа. Смирить-

ся с тем, что происходит в стране, трудно. Почему у нас вертолеты падают? Их никто не сбивает. Нет денег на ремонт. Почему в деревне пьют по-прежнему, только раньше пили с утра, а теперь после обеда? Если спроецировать все это на культуру, ситуация ничуть не лучше.

- *Значит, все безнадежно?*

Нет. Все фатально.

5. Восстанавливается ли, по вашему мнению, государственная опека культуры? Нуждается ли в этом русская культура на данном этапе?

В какой-то степени, увы, нуждается. Я работаю в журнале, который последнее десятилетие отчасти жил на деньги Сороса. Я имею в виду то, что библиотеки выписывали наш журнал на его деньги. Это унижительно, хотя по-человечески понятно. Сорос любит Россию. Его отец в 1914 году попал здесь в плен и передал сыну любовь к стране, которая его пленила. Чисто русский сюжет. Сорос – трогательная фигура. Но, когда думаешь о том, что лучшие русские журналы живут на его деньги, хочется повеситься. Правда у нас многие чувства уже атрофированы: платит, и хорошо. Перестал платить – нужна государственная опека, и, наверное, было бы хорошо, если бы она была. Но чем опасна государственная опека? Умный опекать не пойдет и деньги делить не будет. Умный будет сидеть и о Боге думать. А пойдет на это глупый или подлый. И он эти деньги будет делить и будет спускать. Ведь человек, который другим делом не занялся, он обладает специфическим умом – лукавым или бюрократическим. И вот тогда эта опека будет как кляп в горле. Я жил под этой опекой 40 лет. Я стал хитрым и изворотливым. Я стал лукавым. Я стал писать эзоповым языком. Я не хотел бы возвращения такой опеки. Она означает возвращение цензуры, а это признак плохой. Неслучайно *Огонек*, который перечитывать сейчас невозможно, был тогда просто светочем, потому что избавился от этой опеки. Но вот что интересно: сейчас я пишу без всякой цензуры, а все равно должен шифровать. Не потому, что боюсь каких-нибудь путинских эмиссаров. Ничего против Путина я писать не буду. Это не мое дело. Я должен шифровать, потому что истина в принципе обжигает. Истина страшна, ей нельзя смотреть в глаза. Глаза надо опускать. Поэтому я лукавлю с Богом. Я понимаю, что не выдержу его взгляда. Я понял, что дело не в цензуре и не в советской власти, а в том, что человек очень страшен. Природа человеческая страшна. И лучше, когда человек этого не знает. Потому что, если он это узнает, он становится серийным убийцей. Или кончает самоубийством. Пусть не каждый, но даже если один из миллиона – этого достаточно, чтобы испугаться. Поэтому лучше шифровать.

6. Как соотносятся понятия «элитарность» и «народность» в новую эпоху?

Они друг другу не противоречат. Кстати, элитарность может быть внутри народа. Просто это один из уровней. Ведь народность вовсе не означает принадлежности к крестьянской культуре или отсутствия образования. Народность – интегральное целое. Внутри него есть определенные элитарные группы. Они разные, их много. Есть элита техническая, есть элита гуманитарная, есть элита управляющая и т. д. Не существует отдельно элиты и народа. Это сложная система, и не надо думать, что элита выше народа. Она просто делает свое дело и работает в своем жанре.

- Она работает для себя или для народа?

Я могу судить по себе. Есть такой журнал *НЛО – Новое литературное обозрение*. Там печатаются суперэлитарные филологические тексты. Это, конечно, не моя элита. Я никогда так высоко не висел на ветках познания. Но кто мне мешает взять и прочитать этот журнал, если мне это интересно? Любой человек может взять любой элитный текст, если чувствует, что может его освоить. Запрета нет. Это сообщающиеся сосуды. Хотя уровни условны. Считается, что один выше, другой ниже, но заборов нет. Никто мне не запрещает читать то, что я могу. Но я просто многого не могу. Поэтому существуют в обществе элиты. Они замкнуты не потому, что опасаются вандалов. Просто, не будучи замкнутым, трудно далеко уйти. Если ты хочешь что-то додумать, ты должен отделиться от всех остальных. Ты должен закрыться от всего. Тогда ты что-то доведешь до конца.

- Не кажется ли вам, что элитарная культура имеет гораздо меньше потребителей, чем было десять лет назад?

Десять лет назад еще существовала советская литература, советская культура. Культура для всех. Книга издавалась тиражом 100 тысяч экземпляров, и ее читали по всей России. А сейчас у меня выходит книжка тиражом 2 тысячи, и никто ее не читает. Конечно, литература тогда была что называется массовой. Теперь массовое существует только в бумажных обложках. Детективы, которые читают в метро, стали самой массовой литературой. Она и рассчитана на такое потребление: прочитал и выбросил.

- Не кажется ли вам, что между культурой массовой и серьезной возникла пропасть, которая все время расширяется?

Есть такое. Но ведь и сама литература, как я уже говорил, раскололась. Вы не найдете человека, кроме меня, сумасшедшего, который читал бы и Юрия Кузне-

цова, и Иосифа Бродского. Те, кто читают Кузнецова, не читают Бродского и наоборот. Если человек читает Проханова, он никогда не будет читать Маканина или Битова. Он даже и Мамлеева читать не будет. Между элитой и народом разверзлась пропасть. Хотя пропасть была во все времена и во все времена ее пытались уменьшить русская интеллигенция. Пыталась и надрывалась на этом. Сейчас ситуация мало изменилась. Современный интеллигент в отчаянии оттого, что народ «Белинского и Гоголя с базара не несет», а читает детектив. Серьезного никто не читает, да и сами интеллигенты подчас читают Хмелевскую: все тот же детектив, но лучше качеством.

- Можно ли сказать, что миссия интеллигенции в наши дни возрастает?

Ее миссия делается все более нереальной. Но, с другой стороны, когда она была реальной? У интеллигенции по определению миссия нереальна. Ведь неслучайно интеллигенция появилась только в России. На Западе сроду не было никакой интеллигенции. А была элита, интеллектуалы, которые были втянуты в производство материальных и духовных ценностей. Но интеллигенции, которая пыталась бы решать мировые проблемы, не было. А если и была, то как реакция на русскую интеллигенцию. Место рождения интеллигенции – Россия, потому что только в России были такие непосильные масштабы, такие непосильные просторы и такие непосильные задачи. И от этой непосильности родилась интеллигенция, которая пыталась свести концы с концами, соединить несоединимое, сеять разумное. Но такие задачи и по сей день остаются непосильными. Это несомненно.

7. Понимаете ли вы свою деятельность как служение и в каком смысле?

Мне не очень нравится это слово – «служение». То, чем я занимаюсь, мне интересно, и я чувствую, что мое дело писать о других текстах. Я делаю это лучше, чем делал бы что-то другое. Служу ли я при этом? В свое время, как только мне говорили, что я чему-то должен служить, у меня возникал протест. Когда мне в студенческие годы велели служить партийности, я уворачивался. Если мне велят служить народу, я этого не люблю. Это звучит очень выпендренно. Мне ближе служить культуре. Но что значит ей служить? Я ее осуществляю. Само слово «служение» всегда казалось мне натужным. Хотя то, чем я занимаюсь, все же можно назвать служением.

Писать для меня – самоцель. Впрочем, это отчасти иллюзия, потому что я должен показать то, что написал. Значит, следующий этап происходит уже вне текста. Так что моя деятельность приобретает смысл только в каком-то контексте. Вот этому контексту я и служу. Сейчас, пожалуй, это Россия, а раньше это была

мировая справедливость. Одно время я служил правде: если меня заставляют лгать, я буду правду протаскивать.

- А что означает для вас служить России?

Когда что-то гибнет, это жалко. У меня все время ощущение, что Россия в корчах. Особенно это касается последнего десятилетия. Сейчас это ощущение несколько смягчилось. Но до 93-го года у меня было полное ощущение, что страна гибнет. В 91-м году я не хотел идти к Белому дому, потому что мы должны были драться сами с собой. Я никогда никакого партocrата чужим не считал. Это просто в том же обществе другой человек. Я не выношу раскола. Взаимоуокор должен быть, но ни в коем случае не раскол. А это были именно расколы, с которыми я не мог примириться. И хотя сейчас стало легче, тревога не пропадает. Так что если уж чему-то служить, то России.

8. Какое влияние оказывает на русскую культуру процесс глобализации мирового культурного пространства ?

Дело в том, что русская культура замешана была на мировом пространстве, как я уже говорил. С того момента, как она была рекрутирована в христианство, началось ее объединение, причем объединение под великой мировой идеей, которая досталась нам в восточном варианте. То есть «неиспорченном». Католическая идея считается [в православном мире] немножко «испорченной» (догмат непогрешимости папы и т. д.). Поэтому с самого начала она была замешана на глобализме. Русский человек потому и широк, что всегда хотел всех понять и всех обнять. Глобализм для нас – это не что-то упавшее в виде американского диктата. Это ощущение всемирности, которое русскому человеку свойственно по определению. Ведь кто только Россию не строил: и немцы, и татары, и финны, и славяне. Сибиряки возникли от скрещения разных народов: тут и мордва, и якуты, и корейцы. Кстати, корейцы – первый репрессированный народ, который оказался невероятно живучим. Их хотели в огородничество низвергнуть, а они дали колоссальное количество докторов наук, причем филологических наук. Так что не нужно думать, что глобализм на Россию свалился откуда-то. Она всегда несла это в себе.

- Разве новое время не привнесло в культурную жизнь России новых проблем, связанных с глобализмом?

Новых веяний полно. Во-первых, судьба или история испытывает человечество монополярностью: пусть будет один сильный, а остальные так себе. Еще недавно

было два сильных, остался один. Одному подставили ножку, ударили, и он лежит без чувств, едва поднимается. Это – мы. Американцы хотели всем преподнести идею глобальной культуры. Вдруг, откуда ни возьмись, появляются американцы исламистского толка [sic!], садятся в самолет и долбают символ американской счастливой жизни. И поскольку американцы противопоставляют себя всему миру, то по Фихте получается так: все, что «не-я» ополчается против меня. Поэтому реакция на современный глобализм не та, что раньше. Сейчас этот глобализм восстает в виде единой мировой жандармерии, и против него все так или иначе начинают восставать.

- Как это отражается в русской культуре?

В русской культуре никак пока. Яркие художественные тексты еще не написаны, но в публицистике есть яркие тексты, которые все это осмысливают. Есть такой идеолог континентальных культур Александр Дугин, один из самых ярких идеологов континентального «евроазиатского» типа культуры¹. Он выступает против «атлантического» типа культуры, в то время как вся либеральная литература приветствует «атлантический» тип, который представляется ей всемирночеловеческим. Так что глобализм, противостоящий локальности, – проблема, которая активно обсуждается у публицистов.

- Под каким знаком идет это обсуждение? Это противостояние или принятие?

Это противостояние. В нем участвуют и философы, и политологи. Все они боятся унификации, боятся превратиться во «всечеловеков», боятся, что человек станет некоей абстрактной сущностью.

- Это опасно для русской культуры или это ложная тревога?

Кроме «опасно» или «ложная тревога» есть еще масса промежуточных вариантов, когда присутствие тревоги тебя мобилизует. Это не опасно для жизни, но без такого противостояния ты жить не можешь. На этом великая литература выстраивается – на ощущении этого противостояния и тревоги. Для культуры это живительно, поскольку вся культура построена на сопротивлении, на сопротивлении природности. На том, что эту природу ты окультуриваешь, осваиваешь, приручаешь. А она опять вырывается, и теперь уже твои дети ее приручают. Это извечная реальность. Мы в ней живем. Всегда будут какие-то интегральные системы, и им будет сопротивляться любой локал. Будь то локал языческий, нацио-

¹ Отношение многих авторов Форума к творчеству Дугина отличается от высказанной Л. Аннинским точки зрения (см. Спецвыпуски Форума за 2009, 2010 и 2011 гг.) - прим. ред.

нальный, контрконфессиональный и т. д. Существует масса обществ, которые не могут справиться с модернизацией, и они говорят тогда: «Мы все будем мусульманами». Хотя по существу мусульмане невероятно пестры. Но они могут принять на себя такую всемирную сверхзадачу – противостоять американской идее, или христианской идее, или искать другую парадигму.

9. Сложились ли в России новые взаимоотношения церкви и государства и как это сказывается на русской культуре?

Я коротко отвечу. Вопрос не ко мне. Я могу сказать одно: русская культура сложилась потому, что русская природа взаимодействовала с христианской идеей. Это было драматическое противоречие, противоречие славянской природности и христианской идеи. Потом была эпоха атеизма. Это тоже религиозная эпоха, но с обратным знаком. Николай Островский – это красный святой. Если его читать правильно, то видно, чем он отличался от всех остальных. Он, действительно, по природе святой. А в эпоху антисвятости он был, конечно, истребителем святости. Сейчас происходит покумение церкви и культуры. Я в этом участвовать не могу, потому что я потомственный атеист, некрещеный и не буду крещеным никогда. Но когда выходят здоровенные тома Дунаева, где он рассказывает о том, что вся русская литература всегда была под знаком Православной церкви и сейчас должна таковой стать, для меня это мало отличается от того, что всякая литература должна быть партийной. Только сейчас знак немножко лучше. Потому что коммунистическая партийность была построена на ненависти к врагам, угнетателям, внешним захватчикам, а эта «партийность» построена на том, что надо всех любить. И это приятнее. Но всех любить все равно не получится. Поэтому я в этом не участвую.

10. Является ли завершение постсоветской эпохи, совпавшее с концом века и тысячелетия, завершением определенного этапа в развитии русской культуры и можно ли говорить о новых тенденциях?

Я уже почти 70 лет живу на свете и из них лет 50 пытаюсь жить осмысленно. В разные годы возникал у меня вопрос: не конец ли это какого-то периода? Когда умер Сталин, было совершенно ясно – конец определенного периода. Когда расстреляли Берию, тоже было ясно – конец немножко другого периода. Когда скинули Хрущева, то тоже был конец какого-то периода. Наконец, мы дожили до 91-го года, и тут уже государство ушло в небытие. Для меня это была очень большая драма. Я не хотел, чтобы уничтожилось государство советское. Я считаю, нужно было человеческое лицо придавать тому, что есть. Мы заплатили значительно до-

роже, чем могли заплатить за эту «гласность». Но период кончился. Наконец, подросло три нуля: 2000 год. Кончилось тысячелетие. Когда гробанули Всемирный торговый центр, я почувствовал, что начинается не календарный, а какой-то настоящий новый век. Перемены ощутимы. А для меня, например, они состоят в том, что, когда я выхожу на улицу, то мне кажется, я вылез только что из машины времени и хожу в другой реальности. Я смотрю на молодежь: это вроде бы мои дети и внуки, но они абсолютно другие люди. Меня они видят иначе, чем сам я себя вижу. Конечно, период определенный кончился, но какой? Советский? Вроде, да. А может быть, кончился период императорской России, который продолжался от Петра до Сталина? Я вижу, что это другая страна и другой народ. И произошло это за последние 10 лет.

- Вы предскажите какие-то новые тенденции, какие-то ростки «новой русской культуры»?

Я могу сказать так. Люди вроде меня должны удерживать традицию. Просто чтобы не забыть, как это было. Нужно перечитывать Пушкина и Толстого, просто чтобы не утонуть в Пелевине и Сорокине. Мы должны сохранить эту парадигму, даже если она будет не живой. Это первое, что мы должны сделать, но в какой степени она насытится живой кровью – никто не знает. Какие люди придут нам на смену? Я чувствую, что приходит поколение, которое не пугано государством. Их не били в подвалах ЧК, но в подъездах их убивают. Это в порядке вещей. Просто не было денег, чтобы уколоться. Чем это обернется, не знаю. Могу только предчувствовать. Во-первых, будет реакция детей на отцов или внуков на детей. Мои внуки будут реагировать не на меня, а на своих родителей, то есть на моих детей. А мои дети раздолбали комсомол. Моя средняя дочь это делала и ликовала. Мои дети ликовали, когда империя рухнула. Мои дети хоронили социализм. Хорошо, что еще меня не схоронили при этом. И я чувствую, что мои внуки будут раздражены тем, что все раздолбано. Что они будут созидать на этих руинах, я не знаю. Может быть, кто-то возьмет на вооружение те традиции, о которых я говорю, и с помощью традиций русской интеллигентской культуры они что-то возродят. Но я думаю, что, скорее всего, будет противостояние какого-то оголтелого русского анархизма и железной воли. Человек «серединой» культуры у нас не приживался никогда. У нас вместо человека «серединой» культуры, как на Западе, был интеллигент – человек крайностей, с разорванной душой и который никак не мог свести концы с концами. Вот я боюсь, что у нас это продолжится. Потому что другой России я не знаю.